

Письмо
Самарянке



Виктор
Качалин

Виктор Качалин
ПИСЬМО САМАРЯНКЕ
Владивосток, июль 2017 - 74 стр.

Часть Первая ИЕРОГЛИФ ЛИВНЯ И СНЕГА



Иероглиф ливня храпит метелью, вращает двумя мечами,
сквозь туманную эту восьмёрку я вижу твое лицо,
недостроенный мост над бездной
между двумя деревушками,
закопанными по самые крыши.

Одинокая ель в Липячах похожа на связанного монаха,
и теперь я слышу,
как шумит на дне разбитого русла беглянка Мста,
а полвека назад неторопливо
разливалась весной и бани сносила до самого бора.
В поле кузница – как обрывок раздора между детством и волком,
казавшимся выше неба.

Я пишу тебе в Иокогаму, на меня кричат, чтобы я посмотрел
последние новости.

Вспоминаю твои слова: «Никогда не видала живую корову и сено».

Интересно, что меня раньше прикончит – мороз или солнце,
сырая гладкость реки или от рожденья хрусталик,
исковерканный ненужным зреньем; снег или хлопот бесснежной
мельтешни, огоньков, концертов, рождественских пробок,
до которых нет дела никому, даже самим застрявшим
(ибо это зовется миром, не границей, а просто миром,
градостроительной ошибкой, просчётом прощенья):
и, когда я лежу в гробу, как в колыбели,
воскресает на небе облачком – свинка Сима, умершая сегодня утром.

Посмотрел: Иордан у ног моих, но они не идут по дну,
крепко врастают в мутную быстрину,
Иордан у губ моих, но глоток
прозрачен и одинок.

Ангелы выжимают тряпьё
и подносят бережно, словно подарок дня,
тростниковое бытие-в-себе мысленно затая,
чувствую, как огонь попаляет волосы, голубем темя пьёт,

и раскачивается гора, словно тугой снежок между глаз,
ослепляющий светом и тьмой,
сторожит зимой
неприступный лаз.

Ли Цзунъюаню снится слепой снегопад на реке –
то ли ткачиха с неба закинула светлую сеть,
то ль волопас, заново сбывшийся в рыбаке,
ловит овцу заблудшую в волнах – то ли белый медведь

данью ложится, скалится у Чингисхановых ног;
и растворяется – словно нагая лебедь в банном чаду –
пригнанный тьмой пустынной славянский синий белок
в жарком котле столицы, в бурлящем от слов Чэнду.

В сонном огне – не сжаты его черты,
посох разбит на чётки, и в предрассветную рань
снится снежинке, слетающей через рязанский тын –
плывущий к югу, сверкающий Ли Цзунъюань.

22.10.12

Солнце, солнце с югов – и тучи, тучи с северных рёбер
сушат и осыпают листву, вызолотиться не дав ни каштанам,
ни кленам,
только рябина одна, содрогаясь, ныряет в пурпур –

глазастой птицей, глаголицей, которой нет дела ни до слепых,
ни до зрячих,
бьётся во сне посредине дня в самых кончиках пальцев.
Вылетела, пробилась, ушла. Стала рыжей, внезапной явью.

1.10.12 Москва

Взгляд королей изувеченных меровингов из нотр-дам
снова ведет в пустыню, где между финксовых лап
лежат два камня – песчаник Павла и Антониев гипс-селенит
один рыжеватый, древний – другой как пещерный град

с таинственной щелью, гребнем и столбами как свет
хрупкими – где здесь замысел, а где внезапный покой?
Качается вертолет на ниточке, наблюдателям застит взгляд
неразличимы старец под пальмой и львица, играющая с рукой

24.8.12 Москва

Жесткий, прекрасный сон, не вычерпать слёз из сердца –
Сердце мечетью стало, и глинобитный,
Новый шевелится храм – за него цепляйся,
По деревянным сваям и лестницам прямо в небо.

Чувствую, опережают слова и мысли –
Острые маковки, капли молитвы из харабата в пустыне,
Неторопливо внутрь идут, как боги,
Люди в одеждах белых, пурпурных, синих.

*** Л.Б.

А помнишь капельки ягод во льду на рогах оленя,
Что на рассвете пришел к отшельнику в Эмэйшани –
Затем навестил на Печенге святого Трифона в пене,
И птицы сидели и пели – на загровке и между ушами,

Как будто не осень настала, а вторая весна в Поднебесной,
Ранняя, неопалимая – ту, что на Юг не взяли?
Тесно в горах ей, в лесу и в полях ей тесно,
Вот и бежит нехоженными путями. . .

Когда возводили Стоунхендж, я был там, и я не спору.
Камни возили с Альбы – они шли сами в грязь.
Кромлех стоит, как охотник, открытый свету и горю,
Давно исчезнул лес, скрывавший его вблизи.

Я гол, как сокол, менгир. И больше ничьим не буду.
Разодранных лабиринтов не любит теперь земля.
Я блуд не люблю и скорость, я больше не верю чуду –
Ведь я отдал свои волосы дочери короля.

МЕДНЫЙ ВЕК *Елене Волковой*

Воск от войска неотличим в тесном улье, залитом медью,
волчий вой в ущелье – от вопля созвездий, рука – от ручья,
где Эгерия шепчет Помпилию то ли любовную песнь к Ригведе,
то ли даёт законы, не ведающие врача –

в ту пору не знали морозов, краски в плоть дерева не вплавляли,
ветвистым оленем время не падало в сеть облав,
и, камнем текущие в небо – горы за всех умоляли,
и сияющий воздух спускался до злейших трав.

Настоящий слом происходит в изножье года, где пляшут рыбы,
солнце сжимается до твоей ладони,
белый карлик нам снится, пурпурный гигант безулыбный
тащит мимо сжиженный газ,
а ты скачешь по зыби на «Святой Анне»,
заранее зная,
что желанные груди – там, где Эта и Пелион,
но тебя несет на Афон.

Наскочив на камень, трогаешь нос руками –
не идет ли кровь?

Поправляешь трость, беседуешь с плотной тенью,
накрывающей пиргу и виноградник.
Дорога троицца, как жрица, рвущая змея.
Миндаль у воды зацвел, желтый дрок, обезумев, кивает:
«В келью»,
одинокий дельфин мчится перед рыбацкой лодкой,
гроза воркует
и шипя первой молнией – дарит тебе объятья.

Тот мелкий снег, которого не видно,
с золотоглазым мотыльком ведёт игру в исчезновенье между
стёкол,
внутри и вне тебя, меня, метели;
раз потеплело – значит всё во всём отметится;

По субботам в дверь называют стекольщики,
приглянулся им мой книжный балкон,
занесенный снегом – он дорог мне,
и не нужен треклятый ремонт среди февральских икон,
мне и новая дверь не нужна. За меня им что-то отвечает жена.

Тихо падает снег, он мне единственный корень и брат,
даровит, беззвучен, неизвечно чем жив, богат.

И под снегом лавр на балконе, под снегом мой мозг и гранат.

Сквозь жару всё мерцает: пустота хоронит холод,
звёзды ярче днём, чем ночной огород сопряжений,
леопард и олень играют в крапинку, бабочка села на провод,
Пёс подмигивает Ориону, застывшему без движенья –

застревают горох в горле, по воздуху снег, срываясь
изо всех подушек, лелеет в зрачках глыбу
невывысказываемой любви; простужаясь, горя, скрываясь,
разберём на прощанье кистепёрую январь-рыбу.

Каменные цветы, пеликаний иконостас,
горчащий зеленый чай в дорассветной лени,
расслаблен хрусталик и туго натянут твой шёлк –
и сорвётся враз
вне направлений.

Я умереть хотел бы в февральский полдень,
в месяц перемены одежд,
когда начинается звук без надежд
и свет изнутри – словно рука по струнам, рассеянно бродит.

Хруст, хруст и хруст – вместо лавин любви,
вместо дождя – языки талого снега и льда,
с крыши, мимо балконов, в загаженную белизну.

Ночью так много слов, и все про войну.
Утром растают – сначала туман, затем провода,
связывающие мир. Я пьянею от запаха вин земных,
на минуту весенний ветер очистил их.
Грохот лопаты и веяние Суда.

Часть Вторая ЧАША ЧАСОВ



Черный дождь перестал, превратился в метель
Савва выточил чашу, сквозь камень и хмель
упоенья, трезвенья – стон твоих колесниц
как сверканье ресниц,

ночью стража как сон, и закутанный в прах
рассыпается в скалах, пророчит в стопах,
на молитве чешется глаз и не спит
звездный рой суламит

Вижу зеркало сквозь огонь,
как в гадании –
медное, плавится, и нет его.
Пропускают свет без пламени
витражи, как несбывшаяся планета.
В этом космосе, изваянном из камня,
перехваченном свинцом –

обеззараженное разноцветье
намекает на приятное посмертье;
к воскресению обратясь лицом,
лижет свет, как огонь, мысли –
не выдерживает ни одна,
брань на воротах виснет
у единственного окна.

И отступают воды, и приступают воды,
надписи с камня прочь, сердце скуют отпустят
скалами Иордан обрастает по-тихому не удастся
и глубже, чем веки – воды, и глядят волну народы,
и созерцают воду. И мутят время.

В Балтику бьёт Босфор, Левантом льёт Ледовитый
обманчивые опоры, штормовые узоры,
внутри которых – колонны, столы, языки дельфины.
Да, начинают воды, а проигрывает музыка
назад то самое время, что огонь выдувает.

Пока океан разбужен, в нём видно место,
где к темени прикоснуться, где сядет голубь
на переплетенье волос, запутанных не руками,
на ясный просвет, рассекающий тьму и утро.

Ангел длится с чашей, покуда она пуста,
лишь наполнится чаша – и он отходит.

Точкой огня пробуют небо на прочность
и разрушают дом; пустота и простор после взрыва.

Снег идёт каждый миг, колеблется в потоке,
но ослепнешь, прослеживая путь каждой снежинки.

Часы, доступные лишь свету, живущему в зрачке,
на воротах Аквилеи,
лиса, изловленная руками, упрятанная в мешок,
вечерний бег пустыни,

хранящий сферы Михаил, крылами возбудивший звезды
и отгоняющий дракона –
куда идёте вы теперь, когда из механического звона
возник мой сын

на площади перед разрушенным дворцом –
и снова стал ребёнком,
играющим на собственных губах,
как подобает ветру?

Подбрасывает, ловит золотой забытый мяч,
письмом волнистым
окутан жарко, слёз не видит он,
не знает палок финикийских,

зигзагов, глаз, обозначающих отказ богов
от слов внезапных.

Ему прощает день испарину снегов,
с огнем в обнимку

он пробуждается, и в нём течёт река,
захваченная трижды.
тогда срывает он одежды с воды и хлеба
единственной рукой.

И в ней покой.

И как нарвалов стая из
наружу бьется ночи время
ни до, ни после нет его

оно не ластится, как птица
не проповедует, как день
и не возносится, как ветер

но все дает и всё уносит
и жизнь ест сон, не ищет своего
и не сорадуется смерти

ни вспышке и не угасанию
его не можно зацепить
оно не кончится вовек

ведь начинается внезапно
и с этих слов –
«Который час?»

А сторож отвечает: «Ночью –
Её не жди, и утром тоже.
Нет больше времени. Любя

ты эти льды не разодвинешь,
но можно вынырнуть нарвалом
в крещенской проруби, на морось

списав подарки и помарки
осенней хлористой зимы».
Вернулся, вышел – воскресенье.

Часть Третья ЯСЛИ СВЕТА



ЯСЛИ СВЕТА

1

в этом шуме ответов не слышно ветра
в яслях света не видно Бога
убегающего так стремительно
что в лесах ни одной мысли
а в полях – награждение снега
за внезапное озаренье

Слышен голос про чистый логос
звезды дышат огнем соломой
и в худых мириадах туманностей
проступают конская голова и львиный
облик, рвущий созвездье дракона
на чешуйки цветных сновидений рождений

2

Я не верю в новогодние и рождественские чудеса,
прочесывающие сердце, горы, леса –
или они тебя растворят, позолотят и выжгут, как ветер январский,
или ты их отвергнешь, по-нищенски и по-царски,
без малого не свободен

и не волен в великом. Криком
гоню их пока не поздно, перекасти-поле
пуская летит. Кипение гимнов подземных
в предвесенней Галилее милей,
чем пляски зверей вокруг вертепа.
Я молчу о тебе про тебя,
я очень
тебя люблю, хоть это нелепо.
Остальных – просьба не беспокоить
и не беспокоиться. Хороша вера в Троицу,
когда кругом воплощенный огонь, а не разгон бесконечных
слов по пустыне
и не благодать надежных стен.
И в лесах огня – не удалец, не козерог, не телец,
не водолей, не близнец,
а скользкая рыба,
глядящая левым – в свет, правым – видящая не явь,
не петлю, не яму, не долговую тюрьму,
а овчую тьму.

Ихнелат
Я слежу за следящими,
затоптан след бытия.
Есть одно настоящее,
в нем огонь – это «я-без-нытья»,
с рыжим лбом, белой пастью –
и чепрачный окрас

предвещает конец напастям
и приветствует вас –

Вон за тем кустом, за пустыней,
за колючей скалой,
за цистерной, подбитой инеем,
за пустой головой
тягомотного льва,
который лишь ревел,
здравомыслил и спал.
В лапах – легкость,
в зрачке – благостыня и хитрость,
а под хвостом – кристалл.

Вот портрет, и его вы
мне швырнете назад.
На бегу стерегу основы,
а имя мне – Ихнелат.

+++

Господи постигни эту вещь
лебеда несущего покой
величавый ласковый разбой
в клюве ослепительном своем

городам нечаянным горам
радости исчезнувшим годам
лапами запутавшийся в сеть
и ее несущий в небеса

Склёваны зёрна в пространстве чёрном,
ещё не побелены в Новодевичьем стены,
и вслед за временем вспять плывут пять лебедей чёрных,
кренделями простор умножив,

пока не взорвётся белокурое утро вразлёт,
отбросив крылья, как занавеску,
и на Москву не обрушится острым, как лезвие, снегопадом
туманность Рыбачья Сеть в созвездии Лебеда.

Ледяной богомол притаился на деревце
в центре Москвы, в гнезде, поджидая, когда пробегут
скорпион, козерог, стрелец и прочие дети зимы,
чтобы рухнуть в пустой переулок, девочке сердце пробив,
ей пропев напоследок – предтеча он или нет –
«слухом стань зерна, словно старая индеанка».

СОН В БЕЛОЙ КОМНАТЕ

Зайцу приснилось, что он стал снегом,
и теперь его никто не догонит,
солнцу приснилось, что оно стало камнем,
белым камнем святого Колумбы,
не тонущим ни в озере, ни в реке, ни в море,

исцеляющим воду от смерти;
севши на сани, по седым волосам не плачут,
кутаясь в белую медвежью шкуру,
барса на снежном языке и цаплю
не замечают. Быстрее мчатся.
И осторожней ступают горные козы
по еле заметным выступам скал,
не запорошенным снегом.
«Это всего лишь следы», – произносит во сне
эфиопка в белом.
Я отвечаю: «Это следы бытия, света».
И проснулся в своей белой комнате,
в полдень.

*** *Васе Бородину*

Кто мукой кто солью кто гусиной кожей
кто пером щекочущим между глаз
кто звездчатым сводом застрявший в горле прохожих
кто растаяв лишь раз

на загровке слепого лося у бездны зрячей
плавно переливающейся под ногами в жженку из колеса –
превращается в снег да и снега белее прячет
словоруб и течёт по усам

пусть в успенском соборе томится
неразгаданный Спас золотые волосы
пусть в поморье жестокая жница
уминает снопами часы

а забытая сказка
не от мира взята
словно рыжая ласка
обгоняет кита

ось

Солноворотом жжет весна,
и тьма поистине ясна,
и нет ни звезд, ни персеид —
полночный вид,

крылатый диск, комарий сон
кунул — подарен, унесен,
ось заострилась без времен,
и нет обид.

+++

Рыбы уходят на дно,
драконы спят в углах теорем.
Зимний эдем,
и другого здесь не дано —

Солнце сжимает
дневной земельный удел,
месяц декабрь
точен, как самострел.

Знамений столько,
что ночью слепит глаза,
не выносящие льда и снега
за небеса.

Снег всё покрывает
всему верит, всё переносит
не сорадуется тьме чистоте
миросердствует долготерпит
не ищет своего
и вот-вот перестанет
если не имеешь снега
то иди в горы
и тай на языке
всесожжений

+++

Первый след на небе: алмаз,
а на бумаге – знак,
просвечивающий сквозь нас,
и не схватить никак

ни ритм, ни слово, ни густоту
послеполуночных глав –
будто по сумрачному листу
ангел летел, каллиграф –

белым по утлону наведя
контур пещерных нег:
первый свет – снежинА
дождя,
а второй – человек.

+++

Перечитывая на ночь рассвет,
утром глотая лёд,
в сотах бродит августовский поэт,
и душистый мёд
заливает ум, и сердце, и мозг;
слаще мёда, сильнее льва –
не судьба, не мак,
не вытопленный в полдень воск,
а калёным дождём
слетающие слова.

+++ К.К.

Молния, лоно, лань,
в камне или живьем —
усугубляют дань,
вымоленную жнивьем.

Дабы обнять предел,
что бесконечно мил,
мне не хватает стрел,
огню — не хватает крыл.

+++

Сердце тучи невозмутимо —
там лихие клубятся молнии.
Сильней всего льёт из краёв,
и каждый сыт этой жаждой
неясных и нежных небес.

У земли — одна только песня:
поглощение, прорастание.
Слит в ней последний облик
с чёрной смородиной смерти,
оплачен медной монетой

неукротимого солнца.

+++

Мольба положена вещам,
молчанье – людям,
птицам – соло,
а стенам – взгляд лицом к лицу,
суждениям – саморазрушение.

Твердеет полдень.
Белой ночью
ты превращаешься в одно
прикосновение – без лучей.
Здесь лучший жест –
отдать одежду
слепому солнцу.

+++

Солнце – блюдо, полное львов
солнце – света нетварный щит
солнце, вырванное из веков
видишь, ангел на нем стоит –

Ангел, тающий на горах
ангел, поющий на радость нам
ангел, зовущий птиц на обед
ангел, невидимый как Элам

+++

За небес канат
дёрни раз, два –
дышит, кто богат,
снег быстрее льва,

пропусти свой миг,
не лови свет,
ты жилец книг,
а простор спет.

Часть Четвёртая ТРАМВАЙ В ТРЁХ АКТАХ

73.



ПЕТЕРБУРГ

Трамвай. Проложен путь, и ты идёшь
так независимо от света,
как будто бы сгустившаяся дрожь
бежит ответа без билета; он выдан –
после преждеосвященной
улыбки сонной.

На все вопросы есть метро:
«До Чёрной Речки? – Двинем, бро!»
а ты, зарывшись в дождь, в пески,
меня уносишь в Озерки,
и от разлуки долог
моста осколок.

МОСКВА

Нам было непонятно, где Ты –
владело нами нетерпенье
скорей исчезнуть – быть,
и от почтамта до университета
катиться сквозь удушливое лето

и так любить, что Канта позабыть
на том сиденье, где исчезло зренье
и осязанием кончилось строенье
слепых небес, прохладной темноты.

КИЕВ

Туда, через Днепр,
где острова с каруселями,
где режут воду катера и где бобры подгрызают ивы,
где много голых тел и мельница смысла их мелет,
а майское солнце жжет;
туда, на необозримый правый берег,
в который забиты сто тысяч свай,
чтоб он не рухнул в глубину, с куполами, пещерами
и непобедимой победой, с вечным своим огнем.
На Подол и обратно – домой, домой.

Часть Пятая ПУТЬ МЁДА



Древний добытчик мёда,
Воссиявшу солнцу, идёт
В горы, где дикие пчёлы
На чёрном утёсе текут, как время,
Кругом и вспять.
На нём лишь козья милоть
И палка в руках –
Препоясан он чересом легким,
Мешок на бедре из бычьей шкуры
И триплётная вервь.
Следом бегут – девочки слева,
А мальчики справа,
Ученики, сподвижницы, старцы,
Перепачканные золой.
На лугу под скалой
Ему расстилают
Скатерть-ковёр из чистого льна.
Она пуста. Ждут.
Взбирается наверх –
Скалолаз, Медоборец,

Знаю.

Чёрноволосяй до плеч водопад –

Ему защита от смертных

Укусов пчёл. Руки и ноги обнажены.

Вервь развернул на откосе – выпрыгнула

Лестница, лёгкая, словно змея.

Путь вверх и путь вниз – один и тот же

И не один.

Тростью колотит по голове

Пчелиного царства. Куски, полные тёмного,

Душного мёда, вниз летят, вниз –

Исцеленье мира

Так близко теперь.

Лабиринтовы соты

Со скатерти похватили дети.

Вот и спускается <он> – а в мешке

Сокровенный кусок

Сердца-камня, увенчанного

Пчелиной царицей.

Шум и веселье,

Смех, прыготня,

Одобрительный кашель

Жующих мёд мудрости старцев –

И взор молчаливых дев.

Он показывает им сперва

Свои руки и ноги,

На коих нет

Ни одного укуса. Тогда
Взнузданный жаждой желанья
Доисторичный Фома
Обнимает его и пронзает
Пальцами в коже прореху –
Медоноситель и не заметил,
Как разодрал свой бок о скалу.
А над его головой
Вращается рой ограбленный,
Невероятной воронкой
В небеса уходящий.

РОЙ

расскажи согрей в руках пчелиный танец
с белым воском черным медом и прополисом
гамамелисом физалисом и дзалисом
где похож на ариадну дионис

с забрусом с пиропами пыльцы с густой пергой
где варнава с павлом сам не свой
рвут одежды останавливают нож над быком
плачут над вьюнком

сам собой не потечет небосвод
рой размешан ложкой духа он не в счет
свой язык подставь струится легкий ток
сквозь леток

Часть Шестая ТАНЕЦ



я умер и
— и ожил в тебе
тогда увидел мир

явленья
плыли как поленья
по встречной полосе
реки

но это был не мир

роился рой
рождались лёд, роса и иней
и высыпалась пыль в луче

и это был не мир

твои глаза смеялись
везде и были полны туч
я умер и –
вина слепая

впечаталась
и духом прочтена исчезла
как сон мой и твой танец

Есть поток пурпурный в Захедане,
там вода покажется вином;
ухом приложишь к цветочной ране,
ртом, бедром –

отпечатайся в кровавом чуде,
потанцуй, не дожидаясь дня,
закажи молчание на блюде,
голова –теперь твоя.

Сочи откроет очи
и снова залепит их,
зимних игр короче
заключительный стих.

Мы вышли на лёд рождений
сквозь кровавый проём,
чтобы без снисхождений
протанцевать вдвоём –

обязательную, произвольную,
а ещё раньше – в пустом
классику элементов,
что не увидит никто.

Давай, любовь, начинай свой танец

снова и снова, на жарком льду.

Теперь я спокоен, кровь вытекла вся, ушла

в землю, в воду, в растения, в солнце.

Давай, любовь, неси мою голову

на золотом блюде тому, кто тебе ее подарил.

Мертвым в аду не тесно, теперь я сошел туда

молчаливо петь им о Свете, что пришел во плоти.

Мал я стал, и теперь есть у меня два крыла,
а бегущей воды со мной нет – давай, любовь, начинай,
накручивай смело мои волосы,
заплетенные в пять косиц –
лей на них слезы, лей на них ярость, мне всё равно не до них.
Давай, любовь, начинай отсасывать яд свой из раны;
укрась её розмарином, едва отвернёшься – уста мои выдохнут:
«В метель над тонким ручьем проходи – кусающей круговертью,
электрической тонкой нитью, январской кометой».

НЫРЯЛЬЩИЦА

Тысячу миллионов лет свет пробегает через ядро пустого ореха
моя голова продута пламенем ртутным как золоченая осень
горы идут на дно покрытые водами смерти
всплывают над горизонтом рыжее лоно колени
и архипелагом для пчел запоздалых кончики пальцев

Под покрывалом брачным соленым глаза раскрываются
вижу как в мутном тумане спокойствие стынет
по лбу чиркнул меня полосатый хирург Посейдона
чтобы могла войти в число nereid
войти в хоровод стать двуединой
но и на дне океана я вижу живет желанье
лавой течет нарывами зева гавайских вулканов

Эйя

Время меряется
вспышками лав
клиньями разбитых
библиотек —
и каламами, что снова
напившись чернильных звезд,
продолжают свой бег
быстрым полетом тибетского гуся
на высоте, где истребителям
не хватает уже кислорода,
где обилие света и холод
растерзают любое сердце
и любую мысль о покое.

Тело в конце кальпы такое же, как и в начале
свет и тьма из него изгнаны Светом
только сейчас внутри него буря и смех

А в начале скалы стояли, три огня пылали безвременно
океан напрасно пытался захватить быка и корову
тигр ревел и захлопывал пеликан свою ловушку для рыбы

Небо вверху, небо – внизу,
если постиг – это тюрьма.

Море внутри, море – снаружи,
если поплыть, утонешь в себе.

Земля в глубину, земля в широту,
земля в высоту – куб земляной.

Дышать не моги, воздух – везде,
А вот и огонь-братец – кругом.

+++

Танцующие под дождем
целуют тебя

Плачущие за стеклом
ласкают тебя

Любящие дамасскую сталь
опоясывают тебя

Мастера филигранных дел
выкручивают тебя

Певцы и органистки
спозаранку
разучивают тебя

Древние травницы,
феи двенадцати лет
обнимают тебя

Танцующие в собственной крови
приветствуют тебя –

Принц из Конюшни,
Младенец из Вифлеема.

Ловят единорога на чистую деву,
сон – на настой ромашки, варимый в полдень,
на муху – форель, на быстроту – идею,
дьявол – спешит на плоть, на дух, на безводье,
где любят искать совета – чтоб не исполнить,
лучше полуденный сон и улыбка фавна . . .
Ловит на полноводье – и на закате – Идущий в полночь,
мудрых и обезумевших примет равно.

Что это было, Ангел?
Дождь, не веруя больше в эрос,
вытачивал крылья тебе и лицо,
истончал одежду – пока твои глаза,
как подсолнухи,
перестали следить за солнцем –
та последняя точка восхода
в середине зрачка притаилась омегой –
и ресницы, синяя, раскрылись вверх,
навстречу каплям, потокам, потопам
звуков.
Когда земля и небо соединились,
море узкой рекой
устремилось в тебя.
Из тысяч ангельских голосов
лишь твой не утонул и не растаял,
вонзаясь в альфу.

* * *

Что это было, Ангел? С неопалимой пальмой
ты выступил из огня,
как выступает столб лучевой
из августовского солнца,
чуя осенний холод.
Тихо сплавлялись – сердце и сердце,
плоть платила за плоть
пламенем,
и ум, легче воздуха, легче света,
канул в Едином. А после
пели песни о возвращении –
без памяти, без времени, без поворотов печали
рождалась зима.

Часть Седьмая ЛЕСТНИЦА И ТРУБА



Пишет «Лествицу» Иоанн, переводит Нектарий.
На пороге стоит диван, словно чрево кита,
подбитое звёздочками гвоздей, пёстрой тканью
затянутое на миг. Граммофон в скиту невозможен,
разрешили игрушки только – паровоз, телефон и чернильни-
цу-непроливашку.

Карта мира – ковром на полу, с океанами, ихже не переплыть.
Пишет и переводит – птицы, ангелы и монахи как корабли
идут от земли, от земли, от земли.

Падают иногда, как червячки в майском лесу.
Птицы насвистывают Моцарта.

Высшая мера – не знать, не видеть, не осязать,
про сердце сказано, что оно – крепость,
а оно младенческих пальцев нежнее, и всё равно хочет
постигать, судить, плыть, протягивать нить,
рисовать – ну хотя бы облачко в небе,
а затем стереть и слезами тучи очиститься,
солнцем умыться и вокруг Света плясать
от любви, о любви, без любви.

Самсон играет возле костра, он видит ангела, а не льва
Его сестра не родилась – а Далила никогда ему не сестра
Мед в пасти льва – отмазка, родительская пастила

Тут надо снова подумать,
чтобы сошлись мир и мир –
не растерзали друг друга, размахивая руками

У дикобраза метко выстреливает игла
а у Самсона помыслы в ночи ласковой мягче льна
Хоть вотканы в диск они и напряжены до зела

Бежим из субботы в воскресенье,
Крепко держась за запястья воздуха,
Морю отдадим нашу брачную одежду,
Забрызганную лепестками маков

Кто незримый схватит землю за волосы,
Тот заряжен нашим несусветным покоем –
Умирая, он нас на себе переносит
Из чистой субботы в огонь воскресенья.

Перешагивающий через бездны
Беден и свеж, как дуновение утра.
Влеку меня, обними меня крепко
За миг до того, как нас обезумит

Пояс его, белоснежные горы.

СУЛАМИТА

1

Скрытая за решеткой тонкой, шепчет, поет Суламита,
песня ее никому не слышна и ни от кого не скрыта:

«Легче войти винноцветному волосу в завитни моря,
легче лучу улыбнуться,
вернуться обратно в солнце и тихо быть на запоре, в затворе,
легче нежному ветру войти в лоно цыганской иглы,
легче пересчитать рассыпанные дары,
легче войти аскету в антиохийскую тень, к блудницам,
легче из гейзера черепахе напиться – упасть, не свариться,
легче смешать во сне восхитительность ночи и трезвость дня –
чем мне увидеть тебя и не обнять тебя»

Стонет ее возлюбленный брат – и развернулся, и снова ушел,
нет для него нестерпимей рая, и прочно молчит шеол

2

«Двинулись тени, бегут – и сорвано покрывало,
гроздьи мои раздавлены грязной рукой солдата.
Жало пьёт моё сердце – да, я сама обежала
Ерусалим, и теперь я вижу: здесь нет виноватых –
только лишь я одна виновата, плененная запахом тела,
запахом уст твоих – и молчаньем, сбегаящим рано:
снова пасти мне меж лилиями, снова суровить брови
и из Ирана слышать веяние любви –

там старики умеют пропеть о том, что наше с тобой опьяненье
выше трезвения стражей, не знающих единенья» —

Так Суламита пела, а принц ее тонколицый
то ли томился в темнице, то ль посещал темницы

3

— Столько огня — и ни капли дыма?
Ты ли в уме своем, соглядатай?
К скважине сердца приник незримо,
первая — я? Или стану пятой?

Ночь. Я легла, и лампада сгасла,
звезды — во мне, если ты нескрытен.
Чист, пуст, и светел, и полон масла,
сколько же ты фитилей похитил?

Так — Суламита. Но гость — как ветер,
землетрясенье, огонь и голос.
Он ускользает в самом ответе,
в спелых губах оставляя колос. . .

4

Показал ей руки и ноги — они целы,
и помазал ей очи — отныне они чисты,
улыбнулся — и тут же рухнули все мосты.

«На бедре твоём – след от копья,
твой лоб исколол закум,
кровь и роса смешались,
а волосы – крепче струн...
Где ты ходил всю ночь –
и лишь на утро пришел?
льётся мирра моя
на раскаленный пол...»

Так запела она. Показал ей сердце –
оно как свет. И конца единенью нет,
и вечного полдня нет.

ЕХИДНА

Скорей сворачивай парус и мачту клади,
От гула и молний не спрятаться даже в трюме,
Пусть дышит корабль, поёт и прёт, а ты разгрызи
Орех за щекой, поспевший под солнечным полнолунием.

Язык прикусив, прозрачнее чем мотылек,
Летающий в огонь, я вижу тебя и своды –
Свободней, чем гроб, несущийся через поток,
Разбитое слово нас мирит с любовной одой,

Одиннадцать дней как один, без хлеба и без вина,
А море опять из себя справедливца корчит,
И я надеюсь – крушенью не будет дна,
И сторож нас не прикончит.

В заустье двух рек, в лабиринте отоков и дюн
Ни хвороста, ни огня – и рыбаков не видно,
Лишь ты да я, ты да я, как золотистый вьюн,
Переплетаемся с небом. Кусай же свой хвост, ехидна.

РОЗА ВЕТРОВ

Роза ветров меняется каждый день:
северный ветер несет столы,
западный – скатерти и чернила, восточный – грозу и дым,
южный несет алтари, запрокинутых львов и дельфинов,
ловящих подводный день и звездную ночь.
Роза ветров изменяет сама себе – и прочь!
А ты свободен, летишь на зеленый гам –
размахивая лопастями поэм,
как намокшая бронзовка в белый пион,
подыграв ненароком музыке сфер –
влетаешь в безбашенно-белый храм.

ЗВЕЗДА

Юлии З.

Звезда с головою-каплей, с лучистыми руками-ногами,
не нарисованная никем, не скрытая облаками –
лишь три безумных звезды на небе
соперничают с тобой,
но одна из них – Пёс, другая – осколок Леры,
а третья – Канопус, пылающий сквозь прибой
закипающих смыслов. В эфире – одни лишь пески и волны.
Одна ты чиста – словно свет-человек,

вплавленный в мой хрусталик. Остальное истлеет.

Ты станешь мной,
я стану тобой. И тогда всё поймём, забудем, простим и вспомним —
мы были всегда одним, но манили — тебя неподвижность,
а меня — текучий огонь, да песни, да войны.

МЕДЖНУНОВ МЁД

Долго ль Меджнуну просить всё воды, медовой воды?
Лучше побей себя камнем, выпей вина, взиграй до звезды,
целое небо разбей на созвездия, собери хор планет,
вынь из груди свои рёбра и сделай свет

неприступно-ночным, как очи твоей Лейли,
закрученным в боль творения, словно кудри твоей Лейли,
лёгчайшим и беспечальным, как дыханье твоей Лейли,
а затем исчезни в зерне граната, попав на зубок Лейли.

Тебя здесь пока не знают. Тебя ещё не прошли.

ПИСЬМО САМАРЯНКЕ

Не зажили твои царапины и укусы
ни под солнцем Аравы,
ни под финским стеклянным небом.
Деревянные чётки века —
а лазурные бусы

между ними, блистая, проскальзывают,
будто и не было
ни колодца воды живой
с утонувшим давно почерпальцем,
ни шести мужей,
ни обещанного венчанья.
Путник спит, приобнявши камень –
кольцо до кости пронзает палец.
Сквозь жужжание слышится величанье.

ШЕПОТ ВЕТРА

Ветер в скалах Арада
за малым не гонится,
но всё гонит перед собой –
звёзды ведут хоровод,
поражённые его танцем.

Он беспечен, как дикий верблюд,
велеречив, как огонь,
молчалив, как невеста,
закутанная в утренний свет.

Его шёпотом-пеньем-напитком
делится днём луна
с закипающим солнцем.

КОЛЬЦЕВОЕ ЗАТМЕНИЕ

Из Беловодья – синий цвет и белый тигр
из богословья – русский стих без неги
из Зедазени – низкая алтарная преграда
и кипарис, прохлада
глубокого истока.

Есть чем умыться –
некуда укрыться и подумать
о белых росах, об офитской розе.
Дитя-младенец, старцем Иоанном прижав к губам двуперстье
Близнецов,
другой рукой сбивает время белой ночью.
Слеп от рожденья –
вдруг прозрел
и озорует на маслобойне,
зря кольцевое затмение Солнца.

ЭЛЕГИЯ В УЗКОМ

Вадиму Месяцу

Пекарь-солнце сквозит холодком, провеивает лопатой воздух
слышу за дверью треск пирогов, просящихся в новый струг
лекарь-солнце уводит их в дом и на стол подает
добавив душистый мёд

своенравна начинка: треска, антоновка, рис и сабза с имбирём
так прихватим её, друзья, и белым вином запьём, не умрём
что ты скажешь нам, наступающий солнечный мак?

Или розы вот так

обрывает одну за одной смоляная зима, ледяная тюрьма москвы
собирая в бутон на небе наши бесхитростные пиры
крошек будет немного, да и те – небесные птицы склюют
чтоб согреть своих чуд

вновь успеть, любить и лелеять тебя хочу, как всегда
шелестят не калики-клёны, а маск-сеть,
по которой размечены города
словно поползень, полдень шмыгает стремглав
и не надо управ

вижу узкое словно озёрное небо, усадьбу и тютчевский вал
а вдали ханой и рядом
железобетонный собор византиец припарковал
из дуплистой липы рождается развевая седые кудри как корни
умов и дорог
иоанн феолог

ДИОНИС *Л.Г.*

И дома, как встарь титаны –
лица вымазаны гипсом –
многоглазы, неустанны,
вновь терзают Диониса.
Мир-волчок из пальцев вырван,
в пыль – бараньи астрагалы,
шишка пинии – под солнце;
а последнее зеркало,

то, в которое смотрелся
боголовец и младенец,
позакроет свои тайны
от расшитых полотенец.
Лишь одно предельно ясно:
до конца он не растерян.
раздробленный, всем напрасный,
он один пребудет целен.

Вместе с летним терпким дымом
кровь пропитывает осень.
кто вином подземным хлынет –
в третий раз родиться просит
на исходе зимней пляски;
Критскую разбивши крипту,
вон с корзиной – не с коляской –
мчится праведная Гипта,
и качает головой,
осажденная молвой –
ей не надобно бояться
снов питомца-туроядца.
Что спасла тогда Паллада?
Любопытствовать? Молиться?
Но светильники не гаснут
у простой десятирицы.

Дионис на себя глядит:
не Нарцисс и не лабиринт,
разворачивающийся в себе –
Мальчик с чашей, из плеч – лоза,
и фиалковые глаза,
рана острая на бедре.
Старец шепчет себе самому:
«Выпей свет и сойди во тьму», –
но теснит и не слышит бог,
он пророс из колен – и срок
снова срезанным быть ему.

ПЕРСЕФОНА

Л.Г.

От цветов до гнева подземных бурь,
От картвельской лазури до альционовых дней
Нет для нее приюта – разноцветных земель
У нее так много, но нет нежней

И жесточе солнца двуцветных глаз:
Виноградный сумрак и легкой кисти удар,
От зрачков ее – сердца никто не спас,
И никто смиренней не слышал чар,
Чем ее хрипловатый голос и звонкий смех,
И огонь ее молчаливый, и подлунный скит;
Так ее безнадежно укрыл от всех,
Но отпустит наверх – раз в году – Дионис-Аид.

ТИМОТИСУБАНИ Л.Г.

Рай, где дышат звуки
в ангеловых крыльях,
где цветы с плодами
на кустах граната,
и под смоковницей
дев лелеют воины
с алыми лучами;

Рай, где Богоматерь
на простейшем троне,
вглубь приняв Младенца,
держит Его въяве,
где кресты, процветшие
странными судьбами,
гулко бьют, как бубен:
«Тимотисубани».

Рай, где ель и явор
с соснами встречают
взор прозрачно-серый
льющийся вполнеба,
где под воскресенье –
никого во аде:
даже он прославил
Бога-жизнетворца
маской Диониса.

ЧАША

Чаша мимо не была пронесена.
Пот кровавый – горше звезд,
приятней мирра и вина
для истолкователей, вкушающих Его
на расстоянии кинутого камня,
о Граале в океане
видящих тревожный сон –
твой и мой.
Бродит в бочках кельтское пиво,
веки воинов налиты тьмой,
словно спелая олива.

Жажду воспою и мороз зоркий.
В выстуженном напрочь сердце
костёр свечей вокруг единственной иконы
пусть сменят созвездия и лампы.

Жажду утоли водой глубокой,
растущей из-под корней сикоморы.
Смотри, стали ветви ее как струны,
распускаются неопалимые листья.

Жажду со всех четырех краев света
завяжи в узелок и иди дальше
Ледники в океан пусть бегут. Улыбаясь,
ждут тебя горы, наперсники рая.

СТАМБУЛ

и.ц.

Со Стамбула сказку начнём, пожалуй,
влез мне в сердце – носи его, словно алый
покровец, забытый чужой державой,

и торчат минареты, как иглы в шее дракона,
ставят точки в небе, не расточаясь,
а внутри Софии недвижно текут иконы,

на другом берегу чистит перья феникс, ничуть не каясь –
отдыхает после долгого перелёта,
благовонного шлёпнув кусок помёта

на окрестности Золотого Рога,
привлекая Гога, затем Магога
и туриста, влюблённого идиота.

И раздался голос с той стороны Улая:
«Стой, смотри, что увидишь – не записывай в книгу,
запечатай в своих костях, запечатай в сердце, пусть бродит,
словно сок восхитительно кислый – в инжире из Симеиза.
Эта тонкая плоть, раскинутая в пространстве,
свысока смотрящая, нежная, уязвимая без предела,
гром она или нет – кто знает, начал и концов не сыщешь,
буквами неуловима, словами невыразима.

Нарисуй ее, если сможешь, поддонной тушью
по раскатывающейся, чуть шершавой бумаге –
пусть парит, обнаженная; изобрази ее там журавлями,
то взмывающими в безгрёзное небо,
то летящими, как лестница винтовая.
то с размаху падающими, легче молнии, в прибор океана,
чтобы клювом жарким пронзить наконец-то рыбу».
Так сказал он – а дождь полил всё сильнее.

Часть Восьмая НОВОЛЕНИЕ



Следы огня на губах твоих
нежней, чем воздух, рассекаемый истребителем,
заходящим вечером против солнца.

Следы огня на лбу твоём
круче шагов восходителя на горный пик,
подкрашенного морозом,
счастливого, задыхающегося от мира.

Следы огня на лоне твоём
помнит сожженный рой пчёл.

Плоть жжется, но под видом огня
она как земля. Ты идёшь под покрывалами снега,
и Осени будет мало.

А моря, взмолившись, лежали от края до края,
и вдруг иссохли,
и земля раскинулась от моря до моря,
затем растаяла —
лава ловила нас, но не поймала,
воздух смыл, словно кожу.

скрученные перекладыны,
так не бежит виноград – так свивается время,
еще до книги, до свитков;
волнам не вычерпать моря, людям его оставьте,
разделенным начетверо, прыгающим на одной ножке.
В детство вернулись и дна не чуем,
спать не хотим – как звезды
на розово-рыжих храмах с подпалом неба.

ДОМ

Дом был ковчегом Ноя,
дом был шатром Авраама,
дом был помойкой Иова,
в которой сгорает космос,
разукрашенный звездами труп,
мертвец в оковах ветров –
оказался куда красивей,
когда возгорелся лёд.

Дом был пастью кита,
кустом для Ионы, пещерой,
где от зноя пал Иоанн
на верблюжьих колени.

Тогда появились львы,
срывающие маки и маски,
дарящие девам мясистый
монгольский подснежник, солнце.

Часть девятая СНОВА ИОВ



Отверзающий
зев зверей полевых,
принимающий
равно умерших и живых,
разрывающий
доказательств круг,
брат же сиринам,
птицам небесным друг;
в буре пепла —
камень забытых бурь,
где Господь
нарицал ему не судьбу,
а, при сполохах
молниеликих слов,
вёл его туда,
где основа основ.

ДВА СНА ПОД ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Во сне затекла рука,
Приснилось, что я распят,
По цвету мои бока
Напоминают закат,

Вдали – на Крестовском, там –
Достроенный стадион.
Его открывает сам
Стеклоглазый Нерон.

И начинается бег
Самоубийц и светил.
И нет никого вовек,
Кто взял бы и победил.

* * *

Мы – христиане в новом Риме,
По нам родные плачут львы,
Но мы пока еще хранимы –
Пока не обратятся мимы
И пешеходы из Москвы.

Нам пир подлёдный уготован –
И Обжигающий руду
Нам будет рад. Бесперебоен
Напротив Пушкинского дома
Звонарь, сверкающий в аду.

БЕЗБРЕЖНЫЙ ОСТРОВ

Виктории Полевой

1

Безбрежный остров
и дерево без ствола, ветвей и корней –
собирают в безбрежный небесный ров
скованных птиц
и святых людей.
Столько плодов –
и каждый наперечёт;
в небе – исток,
из которого ничего не течёт.

2

Вырываясь кизиловой косточкой
из всех любовей
мы бежим к Возлюбленному домой
на берег моря –

голова Иоанна
как созвездье, в волнах мерцает

Ангел сказал: “Всё, конечно, во благо –
но лизни мой огненный меч:
он может пройти и стекло, и бумагу,
ничего не может рассечь,

любой, к кому он на миг прикоснётся,
сгорает мил целиком,
так вылезай из земного колодца,
ты, белогривый ком —

пусть опаляет тебе ветер с юга,
северный ветер поёт,
словно стрела твоя изъедуга,
выпущенная в полёт».

И я был рад прикоснуться к нему,
рай — в самом кончике ад.
И я покинул свою тюрьму,
словно спелый гранат.

Часть Десятая МАЙСКИЙ СНЕГ



Иди живей на свет, мой милый Лазарь,
нет в Ясеневе ясеней и вязов,
их выдуплило время – а пролазы
срубили, обнажив твой солнцепёк.
Так лучше – сесть упрямо на пенёк
и помолиться,
чем видеть лица
нарезанные, словно колеи,
а в сумку заползают муравьи;
их обиталище – замусоренный вал,
и книжный червь им не поставит балл

К Антипасхе камень растёр все зёрна,
язык процеловал все уста и губы,
зубы сверкают белей молока,
взгляды радостны от вина –

сверху падает ночь, я сажусь в последний трамвай с лицом льва.

От Донского я вижу лишь фонари и жажду огня,
которым умылись все, кто проворней меня,
и Москва как пустыня, где нет ни цветов, ни воды.
Я умылся в твоих волосах и напился звёздами в тучах.

В небе безжалостный сладкий ветер
песнь поет корням кипарисов
белому сердцу-камню некуда скрыться

Миг – и вырвется лист из книги
ласточка – из глаза ангела
изваяние дня – из ивы

я погружаюсь беззвучно
в закрученные к сердцу
острые лозы

Полнолуние в мае
катится каменным яблоком,
петарды куют росу
в волосах
смытой дочиста Суламиты.

Перебирая пальцами книгу,
ты читаешь, смеясь, жития слепых:
«Свет исчезает при свете,
тем более при ярком свете».

Белыми оленями
майский снег

слитками пей
бабочками ешь

Малиновый язык
зелёные цветы

на клёнах, а вокруг
снежный караван

солнцем обольёт
градинами влёт

а Иерусалим
разрезанный незрим

Трём стридам не тесно в танце,
пуст балкон,
шершень выхватил на солнце
свет икон

из растаявших бетонов,
из-под ног —
здесь ему и сфера гимнов,
и острог,

яблонь сладкими рогами
в молоко,
а рябин сухое пламя
далеко.

Рассеивается вразлёт
с отпечатков пальцев, лица,
до горла радугой жжёт
ледяная пыльца,

сквозь стаи сосен — вьюга,
вишен и слив человек,
пока доклюёт пустельга
майский осенний снег.

Сад держит садовника в трелях птиц,
ночью идёт холод, а ты – тронь
ствол подземной рукой, и осыпется цвет,
дерево окружи гноем своим, и оно обрежет тебя.

Вытри о кровь ирисы, под скалой
густо налеплены камни, гробницы и облака,
а между ними раскинул дорогу мирт,
чтобы сквозь пальцы ты не ушёл вмиг.

Облики входят под ногти иглами,
свободно – в глаза, под крылья,
здесь не до крови дерутся играми,
забери меня

в облачную колесовальню,
там ноги расплавят мне по колени,
а сердце, подбросив и взяв на рога,
унесут олени.

Сотами обступи,
забрус срежь, и на дне лицо
сквозь беду муравьёв,
утонувших в меду.

Рыбами извлеки
из раны – морского ежа,
сосновые плавники
и даль руки.

Скал утоли перегрев,
твой напев чист,
как просоленный лист
тихого мятежа.

И.Ц.

Исчерпанные холодами,
Черёмухи белее ночи,
И за беззвёздными горами –
Не до украс, не до отточий.

Деревья растворяют башни
Давно заброшенного света,
Звенят ключами и бесстрашно
Из ледника выходит лето.

Не грусти, моя радость, сердцем всегда с тобой,
Даже когда сквозь меня перейдёт слепой.
Кровью моей откалывается припой

Глубоко-апрельского льда, не страшен тогда
Ветра сухой перепой, и лиственниц поезда
Вновь отправляются в нас, обойдя покой,

Пляясь корнями в подзол и лаву,
Верхушками растворяясь в дом,
Где свиристелья ягода за щекой.

Васе Бородину

Вытаивая облаками,
Извиваясь лозой,
В камни вращая
Вихрами травы и оливами,
расстаёмся с землёй.

В воздухе след волос,
Запах грозы и радуга
Неприметная пьёт
Из двух морей, и вполне
Хватило бы капли вина,
Чтобы вернуться сюда.

Скрытый в прорехах ран,
Ты взят внутри всех чаш
На простор. И стопа горяча,
Исцелён рай.

Виктор Качалын Тисымо Самарянке

Виктор Качалын Тисымо Самарянке

 niding.publ.UnLtd
2017